

Лев Толстой

# Утро помещика



# Лев Николаевич Толстой

## Утро помещика

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174908](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174908)*

### **Аннотация**

«Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние vacances в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо...»

# Содержание

I	4
II	9
III	17
IV	25
V	29
VI	33
VII	35
VIII	39
IX	46
X	55
XI	58
XII	61
XIII	64
XIV	68
XV	72
XVI	77
XVII	80
XVIII	83
XIX	87
XX	90

# Лев Николаевич Толстой

## Утро помещика

### I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние каникулы в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неопisanном расстройстве. Желая их привести в

порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и, я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и

сил, я успею в своем предприятии.

Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастье, чем счастье других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но

в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы – ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

Нищета нескольких крестьян – зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие – добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытываешь это, если не изменишь своему

намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.



## II

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых, и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique»<sup>1</sup>, с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнату, и по нечищеным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов

---

<sup>1</sup> «Ферма» (франц.).

был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отмотками. «Иван Чурисенок – просил сошек», – прочел он и, пойдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подпревший с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на за-

стрехе густо нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанное скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девочку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залаял оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

– Дома ли Иван? – спросил Нехлюдов. Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

– Дома, кормилец, – проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженный, почерневший навоз, на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми, с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению

ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

– Бог помощь! – сказал барин, входя во двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя пояс, вышел на середину двора.

– С праздником, ваше сиятельство! – сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

– Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, – с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. – Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

– Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадьсь угол завалился; еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, – говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи. – Теперь и стропила, и откосы, и перемёты только тронь – глядишь, дерева дельного не

выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

– Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы, – все новое нужно, – сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

– Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

– Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат, – сказал он, кланясь и переминаясь с ноги на ногу, – так, може, я которые подменю, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудую.

– Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

– А кто е знает!

– Нет, ты как думаешь? завалится он – или нет?

Чурис на минуту задумался.

– Должен весь завалиться, – сказал он вдруг.

– Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

– Много довольны вашей милостью, – недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок. – Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь, а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

– А разве у тебя и изба плоха?

– Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, – равнодушно сказал Чурис. – Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

– Как убила?

– Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

– Что ж, прошло?

– Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и отроду хворая.

– Что ты, больна? – спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

– Все вот тут не пускает меня, да и шабаш, – отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь.

– Опять! – с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами, – отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

– Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки – все одна! Дело наше одинокое...





Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образцов и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

– Да, изба очень плоха, – сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

– Задавит нас, и ребятишек задавит, – начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

– Ты не говори! – строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: – И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки и подкладки клал – ничего нельзя сделать!

– Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! – сказала баба.

– Оно, коли еще подпорки поставить, новый накат-

ник настлать, – перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем, – да кой-где перемёты переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь – вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится, – заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

– Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? – с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

– Не посмел, ваше сиятельство, – отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

– Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. – начала было, всхлипывая, баба.

– Ну, гуторь, – снова обратился к ней Чурис.

– В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! – сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. – А вот что мы сделаем, братец...

– Слушаю-с, – отозвался Чурис.

– Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

– Как не видать-с, – отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы, – еще немало дивились, как клали-то их, – мудреные избы! Ребята смеялись, что не магази ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! – заключил он, с выраженьем насмешливого недоумения, покачав головой, – остроги словно.

– Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, – возразил барин, нахмутив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

– Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

– Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, – сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. – Ты свою старую сломаешь, – продолжал он, – она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу

из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? – спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

– Воля вашего сиятельства, – отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

– Воля вашего сиятельства, – повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами, – а на новом хуторе нам жить не приходится.

– Отчего?

– Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем.

Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

– Да отчего ж?

– Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

– Отчего ж там жить нельзя?

– Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у нас

здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное... – повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

– Вот бы важно-то было! – заметил он и снова усмехнулся. – Пустое это дело, ваше сиятельство!

– Да что ж, что место нежилое? – терпеливо настаивал Нехлюдов, – ведь и здесь когда-то место было пожилое, а вот живут же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

– И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! – с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения, – здесь на миру место, место веселое, обычное: и

дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы – вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить – много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить, – продолжал он, низко кланяясь, – не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

– Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты... – завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

– Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану, – говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водво-

рилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем, – и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

– Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишиться себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы, – и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово, – говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог но излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он

и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

– Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

– Много довольны вашей милостью, – отвечал смущенный Чурис. – Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся. – Что мир? Дело известное...

– Нет, ты приходи.

– Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.



## IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, истопленную печь.

– Что, вы уж обедали? – наконец спросил он. Но усам Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

– Какой обед, кормилец? – тяжело вздыхая, проговорила баба. – Хлебушка поснедали – вот и обед наш. За сныткой нынче ходить неколи было, так и щец, сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

– Нынче пост голодный, ваше сиятельство, – вмешался Чурис, поясняя слова бабы, – хлеб да лук – вот и пища наша мужицкая. Еще слава ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сто пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку нынче везде незарод. У Михаила-огородника, анадьсь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что и в церкву божью не ходим, и свечку Миколу купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на ве-

ру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

– Отчего вы так бедны? – сказал он, невольно высказывая свою мысль.

– Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая – вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал – сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рождает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее, – и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

– О-ох! – громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

– Вот моя подмога вся тут, – продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. – Вот и подсобка моя вся тут, – продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка, – когда его дождешься? а мне уж работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев – все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого, – вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

– Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? – сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

– Да как облегчить? Известное дело, коли землей впадать, то и барщину править надо, – уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его увольте: а то намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

– Нет, уж это, брат, как хочешь, – сказал барин, – мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать-ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет, – говорил Нехлюдов, стараясь выразаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

– Неспорно, ваше сиятельство, – вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине – ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, – и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

– Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, – слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

## V

– Да я еще хотел сказать тебе, – сказал Нехлюдов, – отчего у тебя навоз не вывезен?

– Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал – вот и скотина моя вся.

– Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? – с удивлением спросил барин.

– А чем кормить станешь?

– Разве у тебя соломы-то неостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

– У других земли навозные, а моя земля – глина одна, ничего не сделаешь.

– Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

– Да и скотины-то нету, так какой навоз будет? «Это странный cercle vicieux»<sup>2</sup>, – подумал Нехлюдов, по решительно по мог придумать, что посоветовать мужику.

– Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог, – продолжал Чурис. – Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с

---

<sup>2</sup> порочный круг (франц.).

навозкой и крестца не собрали. Никто как бог! – прибавил он со вздохом. – Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в прошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

– Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, – сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее, – купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна, – я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

– Много довольны вашей милостью, – сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чури-са. Вид человека, которому он сделал добро, был так

приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

– Я рад тебе помогать, – сказал он, останавливаясь у колодца, – тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться – и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.

– Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, – сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться. – Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помер он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

– Зачем же вы разошлись?

– Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил, – и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич – не тем будь помянут – человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз, другой – нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и поряд-

ков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все», – а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже собирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш – царство небесное – барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много-ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.



## VI

«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать», — прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел через улицу, Ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротцам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четверугольная щегольская кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на

ее широко и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаша и бесцветная панева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходил иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

## VII

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

– Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, – сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направила было к соседней избе.

– Дома сын твой? – спросил бариин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русский парень лет тридцати, худощавый,

стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и также беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

– Здравствуй, Епифан, – сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, васясо», – особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на

чем; потом он торопливо подошел к полатам, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

– Зачем ты одеваешься? – сказал Нехлюдов, садясь на лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

– Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

– Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? – сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

– Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику, – отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова, – мы всегда за вашего сяса богу молим...

– Зачем тебе лошадь продать? – повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обежал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая», – и торопливо оборотился к барину:

– Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животное добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

– А сколько у тебя всех лошадей?

Три лошади, васясо.

А жеребят нет?

Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

## VIII

– Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

– Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо. Разве мы можем послушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, что, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут; мы и не пушали. Уж мы не смеем послушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

– Так тут все твои лошади?

– Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек, – отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

– Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

– А вот евту-с, васясо, – отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка и беспрестанно мигающая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

– Он не старый на вид и собой лошадка плотная, – сказал Нехлюдов. – Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

– Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая – и зубом и передом, васясо, – отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

– Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что же ты?» – бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.

– Дай сюда оброть! – сказал он.

– Помилуйте! как можно васясу? не извольте... Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смиренная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел,



стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброти открыл ей рот, посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин, – стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

– Поди сюда! – крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. – Что, эта лошадь старая?

– Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

– Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! – сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. – Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? – про-

должал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: – Тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому.

– Мы вышему сясу, – отвечал он, – не хуже других на работу выедем.

– Да на чем же ты выедешь?

– Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, – отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его. – Коли бы не нужны деньги, то стал бы разве продавать?

– Зачем же тебе нужны деньги?

– Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

– Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

– Ели, вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

– Лошади продавать и думать не смей!

– Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету, и продать ничего не смей, – отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая

вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: – Значит, с голоду помирать надо.

– Смотри, брат! – закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая злобное чувство личности против мужика, – таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

– На то воля вашего сиясо, – отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выраженьем, – коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

– А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

– Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, – смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. – Про человека все сказать можно.

– Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

– Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не

поднимая глаз, следил за ногами барина.

– Послушай, Епифан, – сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение, – этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

– Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! – отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, – как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

– Вот вам на хлеб, – сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию, – только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

## IX

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», – значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издав издав увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

– Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

– Где изволили быть, ваше сиятельство? – спросил Яков, защищаясь фуражкой от солнца, но не надевая ее.

– Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? – сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

– А что, ваше сиятельство? – отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за бариним и, надев фуражку, расправлял усы.

– Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

– Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

– И жена его, – перебил барин управляющего, – ка-

жется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать – я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

– Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, – начал он, – то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городе на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь – он опять в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

– Уж это оставь, Яков, – отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь, – про это мы с тобой говорили и перегово-рили. Ты знаешь, как я об атом думаю; и что ты мне

ни говори, я все так же буду думать.

– Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, – сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего. – А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно, – продолжал он, – оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; по ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула – бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, – говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице. – Домой изволите? – спросил он.

– Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

– Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним не делал – ничто не бе-



рет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекуни и я: и в стан посылали, и дома наказывали – вот что вы не изволите любить...

– Кого? не-уже-ли старика?

– Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит-не пьет то есть, – объяснил Яков, – а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрешка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? – прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

– Нет, ступай, – рассеянно отвечал Нехлюдов в направлении к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и

бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распутив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, – такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная

курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

– Эй! кто тут? – крикнул барин.

С печи послышался другой протяжный вздох.

– Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычание и громкий зевок отозвались на крик барина.

– Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волосы, и тело, и лицо его – все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики, – то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно кра-

сивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

– Ну, как же тебе не совестно, – начал Нехлюдов, – середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал: но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо – я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

– Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя

вот уже целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит – а?

Давыдка упорно молчал и не двигался.

– Ну, отвечай же!

Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

– Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна, – все от лени. Ты просишь у меня хлеба; ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: чей хлеб я тебе дам? – упорно допрашивал Нехлюдов.

– Господский, – пробормотал Давыдка, робко и восторженно поднимая глаза.

– А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех, – на тебя и на барщине жалуются, – меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы

на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно – слышишь, Давыд?

– Слушаю-с, – медленно пропустил он сквозь зубы.

## Х

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на коромысле, и через минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, приотворила дверь, обдернула напеву и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выгладывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

– С праздником Христовым, ваше сиятельство, – сказала она, – спаси тебя бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.

– Спасибо, Арина, – отвечал Нехлюдов. – Вот я сей-

час с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов:

– Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он говорить-то не может как человек. Вот он стоит, олух, – продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую, массивную фигуру Давыдки. – Какое мое хозяйство, батюшка ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину – срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дожидаться парня. Вот и дождались: хлеб лопают, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, – сказала она, передразнивая его. – Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради господ бога, в солдаты ли – один конец! Мочи моей с ним не стало – вот что.

– Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? – сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.



Давыдка не двигался.

– Ведь добро бы мужик хворый был, – с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина, – а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что, – говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами. – Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать; так нет вот, и лопаты в руки не брал... (На минуту она замолчала...) Загубил он меня, сироту! – взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. – Гладкая твоя морда лядащая, прости господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мочи моей уж нет! Невестка с работы извелась – и мне то же будет.

# XI

– Как извелась? – недоверчиво спросил Нехлюдов.

– С натуги, кормилец, как бог свят, извелась. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина, – продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное, – ну, баба была молодая, свежая, смиренная, родной. Дома-то у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала – и на барщину, и дома, и везде. Она да я – только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть: а все через силу работала – ну, и надорвалась, сердечная. Летось, петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла – у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да и дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь! Ну известно, бабья глупость, – она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! – снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну... – Что я тебя просить хотела,

ваше сиятельство, – продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

– Что? – рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

– Ведь он мужик еще молодой. От меня уж канон работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

– То есть ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

– Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери. И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

– Зачем ты в землю кланяешься? – говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. – Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста; я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потеряв глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина.

– Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

– Разве она не согласна?

– Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

– Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

– Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу жизнь да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажут, почитай что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст, – прибавила она, недоверчиво качая головой, – рассуди, ваше сиятельство. – Так что ж я могу сделать?

– Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, – повторила убедительно Арина, – что ж нам делать?

– Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае.

– Кто ж нас обдумает, коли не ты? – сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

– Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, – сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей. – А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином.

## XII

– О-ох, сиротство мое! – сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери.

– Что я с ним буду делать, отец? – продолжала Арина, обращаясь к барину. – Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит – грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни ость, а моя утроба носила; жалею его, уж как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец, – повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина... – Я, батюшка ваше сиятельство, – продолжала она доверчивым шепотом, – и так клала, и этак прикидывала:

ума не приложу, отчего он такой. Не иначе, как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

– Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

– И, отец ты мой, так испортят, что и навек нечеловеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу... или что там... и навек нечеловеком сделает; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спускает; так не пособит ли он? – говорила баба, – може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! – думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. – Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно, – говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. – Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся, – подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. – Сослать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам

не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере, и от него избавлюсь, и еще заменю хорошего мужика», – рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием: но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума, и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю, – сказал он сам себе, – да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почему я знаю... Отпустить на волю? – подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде, – несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор, – сказал он сам себе, – самому наблюдать за ним, и кротостью, и увещаниями, выбором занятий приучать к работе и исправлять его».

## XIII

«Так и сделаю», – с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.

– С праздником, батюшка, – сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

– Здравствуй, кормилица, – отвечал он, – как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

– Так-с, батюшка ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

– Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Эта твоя изба?

– Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

– Там жарко; лучше здесь посидим, потолкуем, – отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу.



Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

– Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

– Да хочу, чтобы он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им так, даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?

– Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине, почитай, первый мужик, – отвечала кормилица, поматывая головой. – Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец как с поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик очень сильный, и деньги должны быть.

– А как ты думаешь, много у него денег? – спросил барин.

– Люди говорят, известно – по злобе, может, что у старика деньги немалые; ну да про то он сказывать

не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Нешто побоится славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкаликком-дворником в доле, по малости стал заниматься, да обманул, что ли, его Шкалик-то, так рублей триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им исправным не быть, батюшка ваше сиятельство, – продолжала кормилица, – при трех землях живут, семья большая, все работники, да и старик-от – что же худо говорить – сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку па вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

– Что ж они, ладно живут? – спросил барин.

– Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы – известно, бабье дело; невестки за печкой полаются, полаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

– Теперь старик большего сына, Карпа, слышать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

– Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами, – как ты думаешь? – сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

– Вряд ли, батюшка, – продолжала кормилица, – старик сыну денег не открывал. Пока сам жив да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует; да и они больше извозом занимаются.

– А старик не согласится?

– Побоится.

– Чего ж он побоится?

– Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравен случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

– Да, от этого... – сказал Нехлюдов, краснея. – Прощай, кормилица.

– Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

## XIV

«Нейти ли домой?» – подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восемнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

– Что, отец дома, Илья? – спросил Нехлюдов.

– На осике, за двором, – отвечал парень, проводя, одну за другою лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», – подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые комья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат

прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубаше и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

– Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? – сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.

– Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно, – сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом

так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.

– Вот что, – начал Нехлюдов, заминаясь, – я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

– Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, – развязно отвечал Карп, почесывая спину.

– Что, братья твои на почте ездят?

– Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

– Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

– Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми – и то слава богу.

– Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.

– Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

– Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял

и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

– Мы много довольны вашей милостью, – сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. – Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.

– Так как ты думаешь?

– Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

– Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

– Сюда пожалуйста, – сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

## XV

Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистой пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестящим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полую рубахи свое потное, загорелое лицо и крот-



ко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем.

– Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, – сказал старик, снимая с забора пахнувший медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. – Меня пчела знает, не кусает, – прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

– Так и мне не нужно. Что, роится уж? – спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

– Коли роиться, батюшка Митрий Миколаич, – отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству, – вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холод-

ная была, изволите знать.

– А вот я читал в книжке, – начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волосы, жужжала под самым ухом, – что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладин...

– Вы не извольте махать, она хуже, – сказал старичок, – а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно: но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения.

– Оно точно, батюшка Митрий Миколаич, – сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина, – точно в книжке пишут. Да, может, это так, дурно писано, – что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норевят, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, – прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощи-

нам, – вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше, – говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. – Вот нынче она с калошкой идет, нынче день теплый, все видать, – прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника; пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.

– А много у тебя колодок? – спросил он, отступая к калитке.

– Что бог дал, – отвечал Дутлов, посмеиваясь, – считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, – продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, – об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.

– Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! – отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.

– Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напускает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает, – говорил старик,

не замечая ужимок барина.

– Хорошо, после, сейчас... – проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

– Землей потереть: оно ничего, – сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

## XVI

– Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, – сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина.

– Что?

– Да вот лошадами, слава те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

– Так что ж?

– Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

– Куда ж они пойдут?

– Да как придется, – вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. – Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

– Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, – сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. – Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

– Когда не выгоднее, ваше сиятельство! – опять

вмешался Илья, бойко встряхивая волосами, – дома-то лошадей кормить нечем.

– Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

– Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублей денег привез.

– Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, – сказал барин, снова обращаясь к старику, – но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, – прибавил он, повторяя слова Карпа.

– Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? – возразил старик с своей кроткой улыбкой. – Съездишь хорошо – и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, кроме доброго.

– Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей и лугами...

– Как можно, ваше сиятельство! – подхватил Илюшка с одушевлением, – уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

– А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть, – сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

## XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полую зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил:

– Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатами и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полаты не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.



Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

– Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь, – подумал Нехлюдов, – отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.

– Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете? – сказал старик.

– Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, – вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. – Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

– Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? – перебил он барина.

– Да ведь небольшую рощу, рублей в двести, – заметил Нехлюдов.

Старик сердито усмехнулся.

– Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, – сказал он.

– Разве у тебя уж этих денег нет? – с упреком сказал барин.

– Ох, батюшка ваше сиятельство! – отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери, – только бы семью прокормить, а уж нам не рожи покупать.

– Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? – настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

– Може, злые люди про меня сказали, – заговорил он дрожащим голосом, – так, верите богу, – говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе, – что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, кроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо, – вы сами изволите знать: избу поставили.

– Ну, хорошо, хорошо! – сказал барин, вставая с лавки. – Прощайте, хозяева.

## XVIII

«Боже мой! боже мой! – думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшие ему на дороге, – неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно-волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, выс-

шее чувство говорило *не то* и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило *не то* и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробежавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, — мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорило *не то*; он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. — Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, — говорил он сам себе. — Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье!» — твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение

и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это *то*, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», – думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность – у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный труд представляется ему – «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого, – в то же время думал он, – кто мне мешает самому быть счастливым в любви к жен-

щине, в счастье семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».....

.....

## XIX

«Где эти мечты? – думал теперь гоноша, после своих посещений подходя к дому. – Вот уже больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжело и тяжело. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», – подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый

раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и несомненно вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире – к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, – подумал Нехлюдов про своего друга, – а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к дей-



ствительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

## XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький, открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

– Что, завтракать будете, ваше сиятельство? – сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

– Нет, не хочется, няня, – сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

– Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет – ей-богу...

– Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? – отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

– Да как не скучать, разве я не вижу? – с жаром начала говорить няня, – день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям; а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, – продолжала няня, садясь около двери, – ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала... – усовещивала его няня.

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кар-

мана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворе кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно».

То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» – шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это», – думает он и шепчет: «Странно!» – продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для

него дело; и он видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обозу, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

– А-а-ай! – громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп, с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронесли мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоянного двора тройками скрипят телесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весе-

ло здороваётся с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издали ли? и много ли ужинать будут?», с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше – и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, – и ему сладко и весело лететь все дальше

и дальше...

«Славно!» – шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка – тоже приходит ему.